

ГЛУБОЧИЦА

На улице послышались грубые окрики полицаев, отрывистая немецкая речь и лай собак. Фаина, отодвинув занавеску, выглянула в окно.

— Мам, гляди-ка, немцы по всем избам шарят, всех их домов гонят. Даже деда Митрича вытолкали на улицу.

Дед Митрич, самый старей в их селе, ноги лишился еще в гражданскую, с тех пор ковылял на двух костылях, «прыгачил», как говорила веселая хохотушка Райка. Впрочем, она это делала не со злостью, по молодости чего только не ляпнешь, никто же не думает, что словами обидеть может. А Райка вообще на язык всегда скорая да острая, только сейчас она шла вместе со всеми, выгнанными из своих домов, побледневшая и как будто резко посерьезневшая.

— Мам, а куда это их всех? — не унималась Фая, придерживая перед лицом занавеску и осторожно выглядывая в маленькую щелку между тканью и простенком. Окна в избе были большие, их еще Фаинин дед вставлял, хороший стекольщик был, все село к нему ходило, считай, каждый дом его окнами на улицу смотрел.

— Уйди, уйди, от греха! Не высовывайся, авось мимо пройдут,— Дарья беспокойно заметалась по избе, а потом резко, остановившись, откинула крышку подпола.

— Полезай! — скомандовала она дочери.

— Зачем? Не хочу! — отшатнулась та.— Я не буду больше в окошко глядеть. Не хочу в подпол, там темно.

— Лезь, лезь скорей! И нос не высовывай, чтоб не случилось. Меня заберут, ночью выберешься, и в лес ступай, там партизан найдешь.

— Куда заберут? — побледнела Фаина и бросилась к матери.

— Чует мое сердце, не к добру все это, наши-то им третьего дня дали жару, вон как поезд-то ихний пылал. Вот они, поди, и озверели. Давай, лезь! Хоть ты живой будешь.

— Мама, мамочка, я с тобой хочу,— Фаина заплакала и прижалась к матери,— полезли вместе, нас не найдут.

— Найдут, милая, найдут. Увидят, что дома никого нет, искать начнут. Лезь, лезь, милая, скорей, ночью убегишь.

— Я не хочу без тебя, мамочка, - Фаина отчаянно мотала головой, еще крепче обнимая мать.

В это время громко скрипнула калитка. Дарья изо всех сил толкала дочь в подпол, одновременно сиюсь убраться руки Фаины, намертво вцепившиеся в материну кофту.

— Скорей, ну, скорей же!

В сенях захохотали сапоги, мать уронила крышку подпола и попыталась загорюдить собой дочку. Ввалившиеся в избу немецкие солдаты, показывая на двор, громко скомандовали.

— Вон! Выход! Матка, вон! Шнеллер, шнеллер!

Рыжеволосый великан, схватив за руку онемевшую Дарью, вытолкнул ее в дверь. Второй солдат выволоку упирающуюся Фаину и пинком спустил ее по ступенькам. Дарья охнула, бросилась к упавшей дочери, сгрэбла ее в охапку, и, поставив на землю, прижала к себе.

— Шнеллер, шнеллер! — рыжий детина замахнулся прикладом, Дарья, закрыв собой дочь, повела ее мелкими шажками со двора. По всей улице, подгоняемые окриками и толкаемые в спину прикладами, почти бежали сельчане. Сзади ковыляла бабка Нюра, громко стучавшая клюкой, изо всех сил старавшаяся поспеть за всеми.

Людской поток стремительно приближался к колхозному амбару, стоявшему почти на окраине Глубочицы, рядом с большим и таким плодовитым лесом. Сколькo в нем всегда черники урождалось, на все село хватало! Еще и гостям из Себежа оставалось — если к кому родные из райцентра приезжали, сразу в лес — за «добычей» шли. Тут тебе и черника, и малина, и грибы. А озера какие! Глубокие, прохладные, вода в них голубая-голубая, прозрачная, кинешь иголку и смотришь, как она вниз опускается...А на дне камушки, каждый видать. Красота в этих местах необыкновенная, нигде такой нет.

У открытых дверей амбара стояли четверо солдат. Тех, кто упирался, они заталкивали внутрь, били прикладами по головам, спинам, рукам. Били без разбора и малышей, и стариков. Бабку Нюру пихнули так, что она упала прямо на оказавшуюся перед нею Дарью, и они обе рухнули вниз, не успев войти в дверь. Солдаты, схватив обеих женщин, небрежно поставили их на землю и грубо втолкнули внутрь.

В амбаре было все село. Дети плакали, женщины молились. Митрич переминался на своих костылях, вздыхая и что-то тихо бормоча под нос. Бабка Нюра беспокойно оглядывалась кругом, сама себе задавая бесконечные вопросы без ответов.

— Родненькие, нас зачем сюда всех то? В Ерманию ихню забирать будут? А я-то как же? Я куда ж с клюкой-то свойской? А? Родненькие?

Дарья обнимала дрожащую дочь, слезы капали на старую застиранную кофту, а она, не замечая их, гладила Фаю по худой спине, приговаривая шепотом:

— Что ж я, дура, тебя не спрятала? Что ж я наделала, проклятущая? Что ж теперя будет-то? Что ж эти злыдни задумали?

Женщина рядом вдруг зашлась в крике.

— Убьют! Убьют всех! Гореть все будем! Гореть! И дитяти! Все!

Митрич, неловко повернувшись на своих костылях, закричал высоким старческим голосом, пытаясь перекрыть начавшийся со всех сторон вой:

— Цыц! Чего голосишь, дура?! А вы чего закудахтали? Одна несет невесть что, а вы выть вздумали?!

— А зачем нас сюда всех-то? — не унималась баба с растрепанными волосами.— Зачем? Соседей-то наших сожгли! Да-аа, сожгли! Всех! Сама слыхала. Теперя нас жечь будут! За партизан. Господи! Я жить хочу, жи-иии-итть...

Рядом опять заголосили. Стоящие у выхода начали отчаянно колотить в дверь.

— Дитев! Дитев выпустите, изверги! Дитев пожалейте!

Из-за запертой двери послышались лающие окрики, в деревянные стрехи под самой крышей начали впиваться пули. Народ отхлынул вглубь амбара, началась давка, дети закричали, женщины забились в рыданиях. Бабка Ньюра, потрясая клюкой, то-ненько взвизгивала:

— Проклятые, ироды! Чтоб дитев ваших холера забрала! Чтоб вас всех лихоманка свалила, чтоб обезножили все!

Митрич пытался уговорить народ, но его никто не слушал. Агония страха захватила разум, женщины пытались протолкнуть вглубь своих детей, отталкивая чужих, вспыхнули драки. Били друг друга с остервенением, словно вымещая на других ужас предстоящей смерти.

Неожиданно из самой сердцевины людской толпы раздалось: «Расцветали яблоны и груши». Райка в каком-то безумии полукричала, полувыла хорошо знакомую песню. Все замолчали. В резко наступившей тишине явственнее стали слышны звуки с улицы. Раздалось ворчание моторов, один за другим заводились и куда-то уезжали мотоциклы, голоса немцев становились все тише. Наконец, наступила странная и оттого страшная тишина. В амбаре молчали, даже дети перестали плакать. Одна Райка сорванным голосом попыталась завести последний куплет, но на нее так зашикали, что и она перестала петь и стояла, переводя удивленный взгляд с одного лица на другое, пока ее глаза не приобрели былую осмысленность.

— Изверги убегли куда-то, — первой нарушила молчание Рая.

— Послышать надо, может, того, бензин льют? — спросил прошедший гражданскую Митрич.

Стоявшие у дверей прильнули к стене, напряженно вслушиваясь в каждый шорох с «воли».

— Не слышать, вроде... — нерешительно протянула Дарья.

Баба с растрепанными волосами недовольно шикнула:

— Вроде? Или не слышать?

— Не слышать... Вроде... — так же нерешительно проговорила Дарья.

Баба, оттолкнув ее, сама приникла к двери. Снаружи амбара было так тихо, что, казалось, будто слышно, как плещется вода в Белом озере.

— Супостатов рядом нету, — наконец сделала она заключение и отошла от двери, растерянно поглядывая на сельчан. Все потрясенно молчали, не понимая, что это может означать. Неожиданно заскрежетал замок и дверь открылась. Все отшатнулись, баба со спутанными волосами чуть не упала на стоящую рядом Дарью. В проме двери появился пожилой немецкий солдат, который обычно сидел во дворе дома, где жил Митрич, и выводил на губной гармошке грустную протяжную мелодию. Частенько он, стараясь не попадаться на глаза своим товарищам, украдкой совал пробегавшим мимо детишкам то кусок хлеба, то банку консервов, то печенюшку. — Вы идти на воля. Меня свизать. У мене киндер, троє. Я не хотеть убивать дети. Идти. Все идти. Шнеллер, бистро, бистро уходить.

Он протянул вперед руки, показывая, как их надо связать. В амбаре не шевелились, таким нереальным показалось спасение, что никто не мог в него поверить.

— Они уехать, ждать. Гауптман ждать. Вы бежать, бистро бежать.

Первым вышел из оцепенения Митрич.

— Бабы, выходим, быстро, порядком выходим, не давим дружку, выходим, а ну, шнель! — скомандовал старик и все, словно очнувшись от этих слов, подхватили детей и поспешили к выходу. На этот раз не было никаких драк, наоборот, бездетные женщины брали на руки чужих малышей. Две покрепче взяли под руки бабку Ньюру и почти бегом понесли ее на улицу.

Дарья дрожащими руками вязала руки немца, рядом прыгала Фая, подгоняя мать. Солдат кивнул головой, Дарья, таща за руку дочь, побежала догонять сельчан, уже

почти достигших опушки. У самого леса она последний раз оглянулась на родное село, такое красивое этим летним утром. У открытых дверей амбара на земле сидел связанный немец. Словно почувствовав на себе ее взгляд, он поднял голову и кивнул, хотя вряд ли уже мог кого-то разглядеть. Фая дернула мать за край кофты, и, больше не оглядываясь, они устремились вглубь леса.

КАТЮША

Катюшка замерла, свернувшись комочком, и опустилась в самый низ живота. Галина пыталась сдержать дыхание, сбившееся от быстрой ходьбы, чтобы ни малейшим звуком не выдать своего присутствия. Совсем близко от нее остановился полицейский, совершавший обычный ежевечерний обход окраинных улиц их маленького, скрытого в зелени садов Пирятина. Весна в этих краях начиналась рано и уже в апреле все деревья покрылись зеленой шапкой молодой листвы. Почему-то сегодня Никола, самый злобный из всех земляков, переметнувшись на сторону немцев, не то ропил иди дальше по привычному маршруту. Он стоял, всматриваясь и вслушиваясь в ясную украинскую ночь, рядом с тем местом, где притаилась Галя. Тянулись тревожные минуты ожидания, а Никола все стоял и смотрел в темноту. Галина, не выдержав напряжения, прикрыла глаза, судорожно сглатывая подступивший к горлу ком. Постояв с закрытыми глазами несколько томительных мгновений, она заставила себя посмотреть туда, где стоял полицейский. Николы не было. Переведя дух, Галя решила осторожно двинуться дальше, но в это время кто-то толкнул ее в плечо. Она резко повернулась и увидела прямо перед собой ухмыляющегося Николу.

— Попалась, курва партизанская? — приглядевшись внимательно и признав в незнакомке Галину, он сплюнул сквозь зубы и злобно добавил, — ишь, брюхатая, а туда же. Сдохнешь вместе со своим отродьем.

Больно вцепившись в плечо молодой женщины, полицейский поволок ее в сторону комендатуры и втолкнул в сторожку, служившую фашистам тюрьмой.

— Посидишь до утра. Придут хозяева, они с тобой разберутся, — грязно выругавшись, Никола закрыл дверь, задвинув огромный засов.

Галина начала осторожно, на ощупь пытаться дойти до угла, и, упершись в него, осторожно опустилась вниз, попав на кучу прошлогодней соломы. Катюшка беспокорно зашвырялась и Галина, поглаживая свой огромный живот, вполголоса заговорила с дочкой.

— Прости, доченька, прости, что ты из-за меня в лапах фашистов оказалась, — Галина, закусив губу, постаралась отогнать непрошенные слезы, — нам с тобой нельзя раскисать, нельзя... струсим — сколько людей погубим.

Она шептала Катюше ласковые слова и пела песни, пока сама не впала в тяжелый сон, похожий на забытье.

Почему-то Галина с самого начала знала, что у нее будет дочка. Имя они с Володей сразу придумали — Катюша. Мужа расстреляли в первые дни оккупации, ему всего восемнадцать было. Рано они поженились, совсем ведь молоденькие были, а что поделаешь — любовь, да еще какая. Как только в родной город пришли фашисты, Галя, хотя уже знала, что беременна, тут же нашла тех, кто, как и она, мечтал бороться с врагом. И растущий с каждым днем живот ей партизанить не мешал. Конечно, взрывчатку под рельсы она не закладывала, «охоту» на полицаяев не вела, просто ходила из городка в лес на заветную поляну и передавала нашим сведения о немцах, кое-какие продукты и с огромным трудом доставаемые медикаменты. Героиней себя не считала, просто упорно делала свое маленькое дело, незаметно приближая общую победу. А то, что она рано или поздно обязательно будет, Галина не сомневалась. Конспирация была хорошая, практически никто знал, что очень молодая женщина с большим животом не за хворостом в лес ходит, а к партизанам.

С мыслью, кто мог выдать и что палицай про нее знает, она проснулась, когда едва забрезжил рассвет. Лучи апрельского солнца настойчиво пробивались сквозь дощатую дверь тюрьмы. Начинался новый день, который таил в себе страх неизбежной расправы.

Во время допроса Галина больше всего боялась, что будут бить по животу, и ее Катюшка умрет, так и не родившись. В этот день ее несколько раз ударили по животу, хоть она изо всех сил пыталась его прикрыть, но в основном били по спине и ногам. Зверствовать так, чтобы ребенок погиб, не стали — боялись, что мать умом тронется, а из «дурочки» сведений не вытащить. Через два часа допроса, на котором она все время твердила, что никаких партизан отродясь не видывала и кто они такие знать не знает, ее опять отвели в сторожку, вернее, приволокли и бросили на земляной пол. Дверь захлопнулась.

Потянулись долгие часы заточения. Галя слышала отрывистую, лающую речь и каждый раз замирала, когда голоса немцев раздавались совсем рядом. За стенами сторожки шла обычная жизнь, из которой она чьим-то предательством была вырвана, может быть, навсегда. Надежды, что ее отпустят живой, не было — немало казней партизан видел их любимый Пирятин за время оккупации. Некоторые тела висели неделями, для острастки живых.

Тяжелые раздумья прервал тихий голос, звавший ее по имени: «Галина». Голос «шел» из-за закрытой двери. Женщина, с трудом поднявшись с прелой соломы, осторожно поковыляла к выходу.

— Галина, я хочу вам помочь, — послышалось через закрытую дверь.

— Вы кто? — спросила Галя, напряженно вслушиваясь в еле слышные слова и одновременно пытаюсь узнать голос.

— Митя, я здесь убираюсь. Я слышал, как вас по имени называли.

В это время на улице послышались голоса, среди которых выделялся визгливый голос Николы.

— Шевелись! Полчаса на одном месте метешь, комсомол недобитый, к стенке бы тебя, гада, поставить. Шевелись, кому сказано, кто все остальное убирать будет?

Послышался удар, смех полица, потом все смолкло. Галина отпрянула от двери. Через несколько минут опять послышался голос Мити.

— Ушли гады. Я к вечеру вас выпущу. Они за мной не больно следят. Я бежать хочу.

Галина молчала, радость, смешанная с подозрением, мешала говорить.

— Я наш, меня в плен взяли, когда без сознания был. Отошел малость, вот меня тут убирать заставили. Второй день во двор гоняют.

Галя все еще не решалась поверить в скорое освобождение:

— Тебя убьют, если узнают.

— Я бежать хочу.

Раздался резкий окрик, видно, немцам не понравилось, что пленный крутится около сторожки. Митя тут же нарочито громко зашаркал метлой. Постепенно скрежещущий звук становился все тише, видимо, Митя пошел дальше убирать двор комендатуры. Галя стояла в углу, мысли о предстоящем побеге не давали сесть и постараться забыться спасительным сном. «Только бы вечером на допрос не вызвали... Хотя, немцы рабочее время строго соблюдают, о здоровье своем фашистском заботятся». Раздражающая всех немецкая педантичность теперь была Галине на руку.

В сторожке, наконец, стемнело, видимо, на улице наступил вечер. Постепенно дневные звуки затихли, уступив место тревожной тишине ночи. Мучительно хотелось есть и пить. Фашистское милосердие не было столь всеобъемлющим, чтобы дать узнице хотя бы кружку воды и кусок хлеба. Катюшка швырялась изо всех сил, сознание Галины мутилось от переживаний и голода, к которым прибавились тянущие боли внизу живота. Наверное, поэтому она не сразу услышала тихий голос,

зававший ее по имени. Прислушавшись, Галя узнала голос Мити, прозвучавший для нее долгожданной музыкой свободы.

Осторожно двигаясь почти в полной темноте, через несколько минут она оказалась у запертой двери. Митя возился с запором, стараясь открыть его без малейшего скрежета. Галя почти перестала дышать, даже Катюшка замерла в ожидании. Минуты тянулись бесконечно долго. Галина уже начала терять надежду, как вдруг дверь в сторожку тихонько приоткрылась. Женщина осторожно, насколько это было возможно, протиснулась в небольшую щель. Митя — невысокий, совсем молоденький парнишка в полинялой военной форме, с забинтованной грязной тряпкой головой, сунул ей в руки какой-то сверток.

— Хлеб, я вам от обеда оставил.

— Спасибо тебе! — Галина обняла лейтенанта, и, тихонько прошептав: «береги себя», тут же поспешила в сторону хутора, где жила ее троюродная тетка. Через несколько мгновений Галя исчезла в темноте, слившись с деревьями, коих в родном Пирятине всегда было много.

Когда под утро Галина добралась до хутора, живот болел так нестерпимо, что она была вынуждена последние метры идти, согнувшись почти пополам. Выглянувшая на ее тихий стук тетка Матрена сразу поняла: роды начинаются. Она не стала ни удивляться неожиданному появлению племянницы, ни расспрашивать, что произошло. Заведя Галину в избу и устроив ее на лавке, Матрена тут же метнулась за чистым бельем. Опыт приема родов у коров у нее, конечно, был, а вот у людей еще не привелось, однако выхода другого не было. Матрена вскипятила воды, порвала на тряпки старую простыню и встала около Галины.

Катюшка, как истинная партизанка, появилась на свет быстро и без крика, но, получив шлепок по мягкому месту, тут же открыла беззубый рот, огласив избу громким воплем. Три дня провела молодая мать с дочкой на хуторе. Дальше оставаться здесь было опасно, меньше всего хотела Галя навлечь беду на теткин дом. Хоть она и троюродная, а все равно прознать про нее могут, кто-то же саму Галину выдал. Но куда податься с дочкой, она тоже не представляла. В конце концов решили, что она пойдет искать партизан, а Матрена будет приглядывать за новорожденной.

Поцеловав на прощание Катюшку, Галя медленно двинулась по тропинке. Она не боялась заблудиться в хорошо знакомом лесу, — сколько здесь с детства было тропок исхожено! Одно тревожило только, где найти «своих», ведь она встречалась с партизанами на «заветной» поляне, а где находится отряд, понятия не имела. Проблуждав полдня, уставшая и измученная Галина опустила на землю и неожиданно заснула, приклонившись к дереву.

И тут ослабленный тревогами и родами организм сыграл с ней злую шутку. Она заснула так крепко, что не услышала, как немцы окружали поляну...

В этот раз с молодой женщиной церемониться не стали. Избив до полусмерти, кинули в ту самую сторожку, из которой она ушла в спасительную ночь несколько дней назад. Очнувшись на земляном полу, Галина отчаянно молилась: пусть ее убьют, лишь бы Катюшка выжила, лишь бы не прознали про Матренин хутор, лишь бы тетка вырастила девочку.

Утром за ней пришли. С трудом поднявшись после вчерашних побоев, толкаемая в спину ненавистным Николой, Галина побрела в сторону комендатуры. Здесь на заднем дворе обычно проходили расстрелы. Встав у выщербленной пулями и залитой кровью стены, она почему-то вспомнила Володю, представив его улыбающимся, в светлой рубашке с вышитым воротом, такого любимого и родного... Потом перед нею мелькнуло маленькое сморщенное личико Катюшки. Подавив подступающие слезы, она в упор посмотрела на ухмыляющегося Николу, который от ее взгляда сразу перестал улыбаться и суетливо отскочил в сторону.

Тишину апрельского утра нарушил свист автоматной очереди, а уже через не-

сколько секунду вокруг Галины, вжавшейся в стену, свистели пули, рвались снаряды, раздавались крики раненых немцев. Застыв от ужаса, она смотрела, как медленно падал на землю подкошенный автоматной очередью Никола. Спинай, нестерпимо горевшей от жутких побоев, она почувствовала, как зашаталось и начало рушиться здание комендатуры. Только одна стена, у которой все еще стояла Галя, оставалась неподвижной. Она то и защитила женщину от партизанских пуль и снарядов. Сбросив оцепенение, Галина, забыв о боли в избитом теле, бросилась бежать в сторону леса. Она не сразу поняла, что пуля, отрекошетив от стены, у которой несколько мгновений назад стояла молодая женщина, впиалась ей в спину. Галя от резкой боли рухнула на землю. До спасительного леса оставалось несколько шагов...

Пришла в себя она уже в землянке. На скамейке у входа сидела незнакомая женщина. Услышав Галин стон, она тут же обернулась.

— Ну, что героиня, очнулась? Твоему Ангелу-хранителю позавидовать можно.

Галя хотела возразить, что их не бывает, но, вспомнив, как сама несколько дней назад молилась, лежа на гнилой соломе в сторожке, промолчала.

Молодость — лучшая помощь выздоравливающему организму. Галя уже через неделю смогла ходить по всему лагерю и даже умудрилась помогать на кухне. Здесь она встретила Митю, он сумел-таки убежать во время того самого партизанского налета и уйти в отряд. А еще через неделю мать забрала с хутора свою Катюшку. Степан, выдавший Галину за мешок муки, после гибели Николы поостерегся донести на Матрену, а немцам из-за налета было не до поисков партизанского дитя.

КОЛЕЧКО

Маруся покрикивала на лошадь, шарахавшуюся от каждого грохота далекой канонады, заставляя ее двигаться дальше.

— Но, кому говорят, бестолковая! Но! До завтра, что ли, шагать будем?

Марусе было жутко страшно, вдруг какой шальной снаряд сюда залетит, но ехать надо, вот она и понукала, и покрикивала на родную Звездочку. Мамка с утра наказала:

— Давай, Манька, садись на телегу и дуй до мельницы. В доме муки ни крохи нет, что есть будем?

Маруся натянула любимое ситцевое платье в синий цветочек, надела отцовскую фуфайку, материны сапоги, повязала на голову белый платок и вывела со двора Звездочку. Ветер отовсюду наносил запах печеной картошки — в соседних селах, разбомбленных немецкими самолетами, горели избы, в подполах которых тлела картошка, заботливо приготовленная на зиму. Мать с Марусей загодя выкопали в огороде большую яму и сложили туда два мешка зерна — никто не знал, что их дальше ждет, запасы лишними не будут. Вчера в доме кончилась последняя мука, а ртов-то много — мал мала меньше. Маруся была самая старшая из всей большой семьи, «мелким» и за мамку, и за няньку приходилась. Как только увидит, что мать опять с животом ходит, сразу в слезы — это ж ей нянчиться! Маруся и уроки с младшими «делала» — привяжет к ноге веревку от люльки, на печку заберется, книжку читает или в тетрадке пишет, а сама ногой качает. Попробуй не покачай, мать хворостинной отделает. Все подружки гулять идут, а Маруся с младшими возится. И ведь любила их, как мать родная, другая б возненавидела, а она нет, и покормит, и песню споет, и утешит, если беда у них какая детская приключится. Они ее тоже любят, так бы и не отходили от старшей целый день, что Валька, что Нинка, что Зинка, что Сашко — самый маленький.

Вдоль дороги тянулись разбитые дома, срезанные березки валялись рядом, распластав по земле засыхающую листву, воронки от снарядов зияли, как беззубые кричащие рты. Марусе стало страшно. В ее родное Носково война еще не дошла, рядом собирала свою страшную жертву. Отец ушел добровольцем еще в июле. Как мать ни плакала,

как ни голосила, собрал вещь-мешок и подался к военкомату. Маруся у околицы махала белым платочком, до тех пор, пока были видны носковские мужики, уходившие нестройными рядами по пыльной дороге. Дома она собралась было покричать, порыдать, как взрослая по отцу, только когда вернулась, увидела мелких, от голода плачущих, стянула с плеч платок, посеревший от июльской пыли, и занялась привычным делом: покормить-помыть-утешить. Мать целыми днями в колхозе пропадала, продовольствие для фронта готовила, а Маруся по хозяйству суетилась.

Вот и сегодня кому как не ей на мельницу ехать было? Хоть и далеко, и страшно-вато одной девчонке, всего-то ей только-только четырнадцать исполнилось, да еще и ростком она совсем не вышла, младшие ее уже перегнали, только выхода другого не было. Два дня в очереди ждала, такая у мельницы уйма телег скопилась, со всех ближних деревень народ собрался. А куда деваться? Пришлось ждать. Мать, правда, ее не бросила голодать, отпросилась у председателя, взяла колхозную лошадь, привезла своей старшей молока и картошки — все, что в доме было, и тут же в обратный путь подалась. Как муку к следующему вечеру смолоти, тут другая задача нарисовалась — как этот мешок на телегу взгромоздить? Ни ростом, ни силой Маруся не вышла. Но мир-то не без добрых людей, две бабы незнакомые с соседних телег соскочили, так втроем и погрузили муку...

Через два месяца отец пропал. Нет, извещений никаких не приходило, просто письма писать перестал. Неделю нет, две, три... Клавдия в военкомат несколько раз ходила, там только руками разводили: в списках погибших, пропавших без вести, раненых — нет такого. Был человек, и нету! Клава совсем извелась, на младших кричала, Марусю загоняла, есть-пить не могла.

Бабы, с которыми каждый день на ферме с утра до вечера пропадала, и те понять не могли, что такое, почему совсем на себя Клавдюшка не похожа стала. А выспросив, научили ее, что сделать, как про Сашко-старшего узнать. В тот вечер домой Клава не шла, а летела. Вбежав в избу и едва скинув платок и сапоги, скомандовала: — Манька, полезай на печку и гляди. В два глаза гляди!

Маруся послушно полезла, не понимая, куда и зачем смотреть, но спрашивать у матери поостереглась.

Клавдия тем временем села за стол, поставила на него зеркало, прислонила к стакану с водой, потом сняла с пальца обручальное колечко и положила так, чтобы видеть его отражение. Валька попыталась влезть матери на колени, но Клавдия так громко на нее шикнула, что мелкая кубарем откатилась в угол и обиженно устроилась на лавке. Нина, наблюдавшая красноречивую картинку, к столу подходить не стала, а тихонько подсев к сестре с недоумением поглядывала на мать. Вера с Сашко-младшим уже давно сопели на печке.

— Гляди, Маня, гляди со вниманием, прям на зеркало гляди в то место, где кольцо мое видать. Что разглядишь, скажешь.

Маруся, хоть и не понимала, к чему мать все это затеяла, во все глаза принялась вглядываться в отражение. Потянулись молчаливые минуты, нарушаемые лишь тихим похрапыванием младших сестер, задремавших на лавке в углу. Но, как не старалась Маруся, ничего она в зеркале не увидела. Немного подождав, мать требовательно спросила:

— Ну? Мань, чего молчишь? Чего видишь-то? Говори, не тяни душу.

— Ничего не вижу...

— Да как так-то? Бабы сказывали — верный способ! Ты, може, не туда глядишь-то?

— Туда...

— Гляди, гляди, шибче гляди! Хозяина нашего видать должно...

Марусе очень хотелось узнать, что случилось с отцом, и она снова начала напряженно всматриваться в то место, где отражалось материнское колечко. Через не-

сколько томительных минут она вдруг ясно увидела какую-то непонятную фигуру в большом тулупе, с винтовкой за плечами, потом этот человек начал «расти» и Мария отчетливо рассмотрела лицо отца в какой-то непривычной островерхой шапке. Он что-то кому-то говорил, но слов не было слышно, девочка попыталась прочесть по губам, но не смогла и закричала, что есть мочи:

— Папка, папка!

Видение исчезло. От неожиданного крика проснулись младшие, Сашка заплакал, Валька с Нинкой подскочили на лавке и, хлопая осоловевшими глазами, силились понять, что произошло. Мать подбежала к печке.

— Видала? Что видала-то? Ну?

Маруся, подхватив на руки самого маленького, торопливо рассказывала Клавдии, нетерпеливо переминающейся у печи:

— Жив, тятка, жив. Он с винтовкой стоит, в тулупе, точь, как свойный, что у нас в снях висит, а на голове шапка треугольная.

— Какая шапка? — не поняла мать.

— Ну, такая, — и она подняла руки над головой, сложив их домиком.

— Не раненый? Не в крови?

— Не! Стоит с винтовкой, живехонький!

После этого вечера Клавдия немного успокоилась, перестала выть по мужу как по мертвому. Марусю закрутил ворох дел, и она постепенно забыла о гадании. Утром по хозяйству оставалась, днем бежала в поле, а ночью, когда бабы уходили по домам, ребятня, впрягшись вместо лошади в жернов, молола муку или вручную веяла овес, очищая его от мякины. Когда спали, когда ели — да Бог знает.

Весной сорок пятого от отца «долетела» до родного Носкова весточка, а еще через пару недель пришло письмо из госпиталя, что он тяжело ранен под Кенигсбергом.

Летом Маруся поехала забирать отца с поезда. Ради героя-фронтовика, у которого взрывом оторвало ногу, председатель дал свою лошадь. Пока тряслись в старой телеге, Маруся не удержалась и спросила, где он столько военных лет был, пока не попал в бой под старинный город Кенигсберг.

— На границе, дочка, был, на китайской. Охранял.

— Тять, а на голове у тебя что было?

Отец подивился странному вопросу.

— Шапка, буденовкой называется. Такие в гражданскую носили. А чего ты вдруг спросила про шапку-то?

Маруся улыбнулась и, немного помолчав, принялась рассказывать отцу про младших, которые его, поди, сейчас и не вспомнят...

